

Анна Стреминская

Марфа и Мария

Стихи



**Киев «Писатель в интернет-пространстве»
2018**

ББК 84 УДК 82-1
С 84

ISBN 978-617-7494-19-4

Марфа и Мария. Стихи / А. Стреминская. Киев : «Писатель в интернет – пространстве», 2017 – 80 с.

Стреминская (Божко) Анна Игоревна. Училась в Одесском Театрально-художественном училище на театрально-декорационном отделении. Закончила филологический факультет Одесского университета. Работает ведущим научным сотрудником ОЛМ (Одесского Литературного музея).

Печаталась в журналах: «Октябрь», "Дерибасовская-Риппельевская", "Южное сияние", "Крепчатик", «Зинзивер», «Дети Ра», «Соть», "Дон", "Меценат и мир", "Мир Паустовского", «Журнал поэтов», «Интерпоэзия», «Артикль», «Литературный Иерусалим», в "Литературной газете". Автор поэтических сборников: "На древнем языке", "Трое", «Умение говорить шепотом» и многих коллективных сборников. Является победителем международного лит. фестиваля «Славянские традиции» (2010).

В новом поэтическом сборнике «Марфа и Мария» поэт пытается постичь, как совместить в себе Марфу, которая «заботится и суетится о многом» и Марию, которая избрала «благую часть, которая не отнимется от нее». В сборник вошли как новые стихи, так и некоторые стихи из предыдущих книг.

ISBN 978-617-7494-19-4

А. Стреминская ©
Иллюстрации художника И. Божко ©

*Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом,
а одно только нужно. Мария же избрала благовую часть,
которая не отнимется от нее.*

Ев. от Луки, гл. 10, 41-42

Меня называли Марией,
а я оказалась Марфой!
Подрезаны мои крылья
и спрятана моя арфа.

Ведь после базара не нужно
ни музыки, ни полета,
ни слова Учителя. Ужин
важнее всего да работа.

Обильное угощенье
радушно встречает гостя.
Надеемся на прощенье,
да жиром заплыли кости.

Но все же сквозь чад кухонный
доносятся звуки арфы.
Сквозь быта чугунные тонны...
О, Марфа, трудяга Марфа!

И все ж доносится Слово
сквозь грохот горшков и тарелок,
сквозь крики ослов – так ново,
и так непривычно смело!

И все сжигает пожар твой,
о, Слово, ведь ты – стихия!
Меня называли Марфой,
а я оказалась Марией!

Когда судьбы взгляд и зол и лих,
когда тревога бьет через край,
живые держатся за живых,
и только так обретают рай.

Непрочный рай, невесомый рай
земной, что миг лишь один – и нет.
Но есть вино и есть вечера
налитых солнцем степным бесед.

И отблеск рая тогда на всем –
на ветках вишен цветущих, на
бокале с пойманным лепестком,
на смехе добром, где боль слышна.

Но вот отшельник, и рай другой
ему известен, он там – Адам.
Пространство степи – его покой.
И только в сердце и рай, и храм.

Тот день наполнен мёдом был до края,
осенним мёдом – светлым и тягучим.
Жара ушла – сентябрь, отдыхая,
писал стихи на всей листве летучей.

В тот день хотелось книги перечитать
забытые, не вспоминать ошибок.
Разлюбленных, обидевших не счесть,
но всех простила я. А день был зыбок.

Он лёгким был и тёплым, как волна
нагретая у берега, как сено.
Мы все омылись этим днём сполна,
теплом мы исцелились постепенно.

И сохло быстро чистое бельё,
и развевались простыни, как флаги
неведомой страны, когда в неё
вошли мы без геройства и отваги.

Капли дождя на папирусах высохших листьев,
в каплях мира отражаются ярко и рвано.
Всюду костры – в них сгорают легчайшие жизни.
Дымная и хризантемная нынче нирвана...

Вечер, трамвай, психбольница, фонарь и аптека –
всё в этой части вселенной для счастья на месте.
За освещённым окном – силуэт человека.
Я же всё мимо – с листвою мне падают вести.

Не научилась я жить, и всегда я была такою,
что важнее всего была осень с её дыханьем.
И для меня мешок с опавшей листвою –
всё равно, что наволочка Хлебникова со стихами.*

Русский поэт Серебряного века Велимир Хлебников носил
свои стихи в наволочке.

Не бойся, любимый, с тобой ничего не случится,
лишь только случится всё то, что бывает со всеми.
А жизнь всё в работе – мелькают вязальные спицы, –
и вяжет сюжеты и судьбы, и лущит как семя.

С тобой ничего кроме жизни и смерти не будет,
а это не так уж и страшно, поверь мне, любимый.
Судьба – это чётки из праздников, горя и буден,
из моря и лета, из осени горького дыма.

Живи и смотри до конца эту жёсткую драму,
где, как ни крути, всё на месте и всё справедливо.
Где утро свежо и прохладно и машет ветвями
и зреют картофель и лук, абрикосы и сливы.

Ты выпей до дна эту чашу с вином и отравой.
Будь ближе к земле – это даст и здоровье и силы.
Ты лишь береги своё сердце – ты слышишь, мой милый? –
покуда тебя берегут эти лозы и травы.

Что мне вспомнить о детстве? Быть может, вот это – жара,
дача, лес... Я у деда под Киевом – флоксов касанья,
откровения флоксов, их полусмешные признанья
и весёлая дачная, как мошкара, детвора.

Или это: мне пять, и сосед скалит зубы, шутя.
Он стреляет в котов с идиотски-весёлой улыбкой.
Извивается кот на земле и кричит как дитя.
Я бегу по двору, и земля ощущается липкой.

Мне пятнадцать, и новенький в классе, и я влюблена:
он кудрявый поэт, и зовут Эдуард, и красавец.
На меня – ноль вниманья, и этой любви белена
отравляет мне душу... Любовь исчезает как глянец.

Было многое после, и годы куда-то летят...
Отчего же всё чаще я вижу соседа улыбку
и картинку: тот кот, издыхая, кричит как дитя?!
Я бегу по двору, и земля ощущается липкой.

Утром выйду во двор и замру невзначай:
туча в небе – двугорбый верблюд.
Кришнаитские дети – Нимай и Нитай
по ромашкам вприпрыжку бегут.

Они вилками демонов колют плохих,
а едят они только прасад.
Их движения быстры, ловки и лихи.
«Ты не предана!» – мне говорят.

Керосином несёт из квартиры второй –
там старушка готовит обед.
К ней баптистки приходят задорной гурьбой
и поют свой баптистский куплет.

А болван по фамилии Тер-Казарян
конопли насадил во дворе.
И когда он обкурен, наколот иль пьян,
то рубает он рок на заре.

Здесь у каждого свой сокровенный мотив,
каждый знает, как жить, – это дар.
Только я не пою ни куплетов, ни мантр,
свою музыку затаив.

НЕМЕЦКАЯ КАСКА

Сергей нашёл немецкую каску с дырочками от пуль.
Ради смеха надел он её на голову, и вдруг его захлестнул
поток чужого сознания и речи нездешней лязг.
И он закричал: «Мою голову прострелили!», и разум его погас.

И снится ему, что лежит он в поле на чистом белом снегу,
пронзённый насквозь чужою болью: «Майне либе, я встать не могу!
Зачем я лежу на большом покрывале, холодном, как чья-то смерть?
Мою голову прострелили, майне Ленхен, майн херц!

Зачем я лежу здесь, подобно снегу, а мне ещё нет тридцати!
Ведь если время приказывает нам быть, то пространство
приказывает идти.

Но я умираю, и снег накрывает белой меня простыней...
Я был поэтом, а не солдатом, я хотел вернуться домой.

Всегда мне казалось: надо мною витают ненаписанные стихи.
Но смерть говорит: это были пули! Шаги её так легки...»

С Сергея сняли немецкую каску – зачем нам чужие грехи?
Он долгое время ходил как блаженный
затем сел за стол и начал писать стихи.

Почтовый ящик мой всегда полон:
зимой – снега, весной – лепестков белых,
Летом нахожу в нём спелые вишни,
Осенью – влажные пёстрые листья-открытки.

Порой нахожу в нём пух, паутину, перья,
высохших разных в нём нахожу насекомых.

А я ещё жалею, что мне никто не пишет.

Ю. Островищенко

Что-то иное всегда ощущается нами
в зале притихшем, в толпе ли и в дел карусели.
Где-то запахнет осенними резко цветами,
дымом запахнет горчайшим – и вот мы у цели.
Вот мы у выхода – небо оттенков агата
там где иное, как дым над землей, без предела.
Медленный вечер нальет нам в стаканы заката,
там, где другим никакого до нас уже дела.

Что-то иное я вижу в тебе полупьяном
и сквернословие – твои небеса и деревья.
И одинокие лодки, что скрыты бурьяном,
и одинокого ливня слепое кочевье...

В окне ателье заводной манекен что-то шьет,
еврейский портной, что старательно делает дело.
Он ручку машинки без устали вертит умело
и, кажется, тихо под нос себе что-то поет.

Всевидящим взглядом он смотрит куда-то вперед –
невидимых тканей мы слышим уже шелестенье.
И платьев невидимых блеск ослепит на мгновенье,
и глупый король тут поблизости где-то живет.

Для всех королей он нарядов неспешно нашьет,
а также их жен и детей ни за что не забудет.
А мимо проходят уставшие буднично люди,
и каждый наверное знает, зачем он живет.

Но здесь с выраженьем необщим лица тот сидит,
кто знает, зачем неживой он, и с тихой улыбкой
все вертит машинку и тянется времени нитка.
И время под пальцем его словно ткань шелестит.

Вино и кровь, молоко и вода –
они на Земле пребудут всегда.
Четыре жидкости – нет древней!
Налей мне воды и вина налей!

Вино в крови у древних царей
текло тем быстрее, чем кровь
горячей!
И были войны – алела кровь
в речной воде – вот таков улов!

Недаром в вино претворялась вода,
недаром в кровь претворялось вино.
Тот прошел свой путь от воды до суда,
кому это было дано.

И был Он как все молоком вскормлен,
простым молоком земным.
И млечный туман тех простых времен
развеялся словно дым...

Но только будут с нами всегда
вино рассвета, заката кровь,
и день прозрачный словно вода,
и молоко облаков.

ЧЕХОВСКИЙ САД

Пальмы, глицинии, кедры ливанские, груши,
красные листья магнолий и строй кипарисов.
Легкое небо над ними и легкие души
птиц и людей, и той Чайки, чье имя – Лариса.

Чеховский голос здесь опадает с листвою
и возрождается с розовым цветом магнолий.
Чеховский юмор сплетается с запахом хвои.
Белая дача полна и гостей и застолий.

Женские тени везде: это Ольга ли, Лика?
Лица сестер: это Маша ли, Ольга, Ирина?
И растворяются в ялтинском воздухе лики:
нет никого, кто бы рвался в Москву по старинке.

Мир иллюзорный, прекрасный, как праздник беспечный.
Мы словно дети на праздник сумели прокрасться!
Мир, что как будто не знает, как все быстротечно,
мир, где нельзя ни к кому, никогда привязаться.

Д. Ч.

Я люблю смотреть на твое лицо...
День проходит – его убивает ночь.
Ночь проходит – ее убивает день.
Убивают люди друг друга вновь,
постепенно, не сразу, а лишь чуть-чуть...
Ежедневно, за завтраком, во дворе,
на работе, в школе, всегда, везде...

Я люблю смотреть на твое лицо.
что на фото в альбоме, а в этот миг
убирают пешки своих королей,
убирают пешек своих короли.
И спивается гений, кутит дурак,
и витийствует умник, гордясь собой.
И история свой совершает ход,
и историк лжет.

Я люблю смотреть на твое лицо,
постигать пространство горячих глаз,
изучать географию черт, морщин.
И эпохи ветер сдувает прочь,
мимо судьбы проносятся тех, кто жил...
Но пока я смотрю на твое лицо
я живу, пока я люблю – живу.

В. Бакулину

А я срослась с телами поездов,
могу сказать, что я уже улитка
или кентавр. Мой стучащий дом
несет меня, мое пространство зыбко.

Мне думать хорошо, куда везет
меня мой дом, протяжный словно нота.
Одну и ту же песнь всегда поет
о том, что весела его работа.

И вот Урал – на землю стану я,
меня чуть-чуть качнет, как после моря.
Меня ты встретишь, здесь твоя земля.
Я – чужестранка, перекажи-поле.

А после мы пойдем к реке Урал,
я назвала б ее рекой Молчанья.
Здесь молча ты меня поцеловал,
гуляли молча мы, забыв названья

событий и вещей, и чувств, и мест.
И не было воды той зеленее
и глубже. И деревья все окрест
в ней проросли, ветвями корневея.

Сиреневая опускалась мгла,
и пахло бунтом, пугачевской сталью!
Как сабля в древний слой земли вросла,
твоя земля мне в душу так вращалась.

Ураган появляется ниоткуда, внезапно, в ночь.
Ураган – это выдох Яхве, что полной грудью вдохнул.
Хорошо тем, кто спит в домах – им бояться невмочь –
все в театрах своих сновидений, там радостный гул,
иль азартные крики, иль стоны любви, иль смех...
Каждый сам себе зритель, герой, драматург и суфлер.
Ураган набирает силу – почти уже смерч!
Горе тем, кто в пути: честный труженик он или вор.
И деревья на землю падают как дрова,
провода разрывая, калеча, сминая, круша!
И беспомощно корни торчат, как отчаянные слова,
обращенные к Богу, когда погибает душа.
Все сравнялось сегодня: платан, человек, таракан,
подчиняясь могучей воле, пришедшей извне.
Только корни торчат, как символ бессмысленности корней,
И рассвет стекает лекарством на множество ран.

АМСТЕРДАМ

Вот идут гулять – господин Ван Рейн
 да с ним приятель – Ван Гог.
 А каналы в тумане уже много дней,
 и висит над городом смог.

Так привычно лодки скользят взад-вперед
 челноками по ткани воды.
 И проносится велосипедный народ
 в двух шагах от воды и беды.

– Посмотрите, Ван Рейн, как собор засверкал –
 луч случайный его золотит.
 Этих туч неподвижный и серый оскал
 углубляет лишь колорит!

– Посмотрите, Ван Гог, со старинных картин
 наш музей, как сошедший, стоит.
 Этой осени охра, сиена, кармин
 придают ему царственный вид!

Гей-парад перед ними проходит лихой,
 в платье томный мужчина идет...
 А в известном квартале туристы – рекой!
 Переходят приятели вброд.

И, косяк закурив, Ван Гог складно врет,
 говорит: «Ван Рейн, без обид –
 то ли Саския там, то ли Стин де Гроот
 неподвижно в витрине стоит!»

Сладковатым дымком затянулись мозги,
 и не слышно, не видно ни зги.
 И не знают уже – кто Ван Рейн, кто Ван Гог!
 Да клубится над городом смог...

Праздник беспечный и яркий на желтой арене:
много воды и небес и кораблик далекий,
много мячей разноцветных, и криков, и смеха.
И шелестят себе что-то седые маслины.
Замки стоят из песка, окруженные рвами.
Пеннорожденные плавно выходят Киприды –
их поджидают пляжные Апполоны.
Голые дети Амурами шумно резвятся
и подают мороженое и фрукты.
А ощущение покоя безмерно под солнцем.

Ветер прохладной рукою перевернет страницу –
кончится праздник, толпа мишурная исчезнет,
листья рябые покроют песок сиротливый.

После еще раз перевернет страницу –
море застынет, в броню ледяную одето.
Пляжники будут гулять аж до волнореза
и восхищаться красой неподвижного моря.
Берег пустынен почти, и ракушки со снегом
перемешались. Везде воцарилось Молчанье.
Только лежит на скамейке забытая книга –
ветер листает страницы – одну за другою.
Но до последней никак он не доберется,
ибо число их простое – сама бесконечность.

Анне Николаевне Полторацкой

Будет по-прежнему все: и рабочие будни,
праздников звоны, рождественские колядки...
Скоро придет Новый год – будет легким и трудным,
Снег будет мягким, пушистым, а пряники сладки.

Но как внезапно, жестоко закончилось время,
что отпустил тебе Бог – словно рельсы убрали,
транспорт остановили нажатьем педалей.
С телом простилась, как скинула тяжкое бремя!

Словно бы ангел в разгар новогоднего бала
вышел бы в зал, где кружатся до одури люди.
Все бы застыли в той позе, в которой застал их...
И объявил бы, что времени больше не будет!

Тихий, сухой, пролистая я день, как том.
Сказаны были серебряные слова...
День растворился в молчании золотом,
только лишь ветер был слышен едва-едва.

Сотни желтеющих писем неслись, спеша,
все к своим адресатам, в свои углы.
И на каждом следы от небесного карандаша.
И видны были: почерк Бога, печать золы.

Хочет всегда говорить природа, ее слова –
нервные жесты глухонемых, что узрим везде.
Я – переводчик, полна моя голова
слов и транскрипций, понятных воде, звезде.

Тихий, сухой, золотистый струился день –
будто бы день Египта, где правит Ра.
Игры свои затевала с утра светотень...
Что же важней, чем божественная игра?

Все в равновесии было: земля и тишь –
словно незримо качались, скрипя, весы.
Не было ритмов, и мерили время лишь
то ли песочные, то ли солнечные часы.

«Мир – это театр», – сказал поэт,
но мир не театр, а тир!
Откуда бархат и мягкий свет?
Есть только мишеней пир.

Пируют мишени, земных сластей
спеша наестся скорей.
Мишени из царства больших мышей,
из царства ручных зверей.

И каждая быть боится одной,
спешит к подобной себе.
Но нет ковчега, где праведный Ной
доверился Божьей судьбе.

Вот вместо ковчега «Титаник» плывет,
а вот самолетик летит.
Вот поезд метро машинист ведет,
в котором едет шахид.

И чей-то очень пристальный взгляд
нацелен... И чья-то тень...
Тебе повезло? Не попали в тебя?
Иди в театр, мишень!

КОЛЯ БУНИН*

Папа в гостиную входит большими шагами –
мальчик к нему выбегает четырехлетний.
Радости детской в гостиной самум и цунами...
Клич испускает ребенок веселый, приветный!

Папа – кричит – покатай меня на трамвае!
Счастья предел – этот красный, чудесный, звенящий...
И ничего он вокруг уж не замечает –
только трамвай – воплощенье мечты настоящей!

Жил ты зачем? Ты – ребенок, песчинка, пылинка...
Так и ушел ты в сонме таких же пылинок.
Жизнь проблестела на солнце седой паутиной...
Миг – оборвалась! В сердцах лишь осталась повинных.

Папа – кричит – покатай меня на трамвае!
Крик этот длился в ушах и в Париже, и в Грасе.
Фото в нагрудном кармане своем сберегая,
жил твой отец, суть познавший и жизни, и страсти.

Где ты сейчас, на планете какой обитаешь,
в парках каких, по аллеям каким пробегая?
– Там, где Господь катает мальчиков на трамвае,
С папами вместе так радостно он их катает!

**Сын И. Бунина – Коля умер в возрасте 4-х лет от осложнений после скарлатины. Это был единственный ребенок Бунина.*

ПАРИЖ

Что ты со мною делаешь,
что ты мне говоришь?
Слышишь, Париж?
Видишь, Париж?
Знаешь, Париж?

Все бродяги твои изысканно так просты,
словно есть у них дом где-то там
неземной красоты.

О, как весело нам в нечистом твоём метро –
там играют «Бесаме мучо», танго, фокстрот...

Поднимусь на вечерний Монмартр и сяду под Сакре-Кер,
чтоб глядеть на твои огни, как в глаза – в упор.
Чтобы тайны твои ты разбалтывал мне налегке
на французском, арабском, бенгальском твоём языке!

Ароматы твои буду помнить я долго, до...
тех пор, как состарюсь, как мой состарится дом.
Круассаны твои, «Шанели» твои, «Ферро»...
Даже вонь негритянской мочи в ветвистом твоём метро!

Как на площади жили с веселым названием Пигаль,
и как Элвиса Пресли старик из Нью-Йорка играл!
Там священные тени бродили – ты помнишь ли кто?
Кто стоял там в цилиндре и в сереньком летнем пальто?

Я в новый день вхожу – он двери распахнул –
всего лишь новый день, один из тысяч.
Вот светлое окно, вот стол и стул,
вот завтрак на столе. Но как мне искру высечь
из белого огнива дня, скажи...
Дом осветить, границы все раздвинуть,
чтоб день был для меня как маленькая жизнь –
наполнен до краев, дождями вымыт.
Чтоб был не скомкан старою газетой,
а весь наполнен смыслом, словом, цветом!
Чтоб обретал он плоть, и вкус, и запах,
пред тем, как солнце заскользит на Запад.
Чтоб было все в том дне: любовь, и боль, и стих,
и луковиц сиянье золотых,
и красных яблок вспышки, и свеченье
костров осенних и листвы осенней!

Бежит печальная собака,
трамвай печально проезжает,
печальный парк собрался плакать,
зачем – не знает!

Печальный бомж сидит под школой,
твердит урок печальный жизни...
Лишь двоечник один веселый
на дядю смотрит с укоризной.

Печальный листик пролетает,
он, как и я, совсем не знает
куда ему себя девать.
И кружит над костром опять!

Печальный дым, печальны строки,
печальный космос одинокий...
Роняет он дождя нефрит
и ничего не говорит.

Художнице Тане Гончаренко

Но стало меньше в мире красоты
с твоим уходом. Красота хрупка.
Зачем ушла так одиноко ты?
Куда же увела тебя тоска?

Знакомых много – не было друзей.
Любимых не было – лишь славы забытье.
Ушла ты в мир из линий и теней...
Забрала одиночество свое.

А в натюрмортах нет ни тени слов –
изысканность лишь там цветком цвела.
Как много принесли тебе цветов –
а на холстах тонули в зеркалах!

Промозглый день нас до костей пробрал:
осенняя, шершаво-злая тишь...
А где-то там в пространстве ты летишь...
И нет ответов в сумерках зеркал.

Он говорит: "Я давно одноклассников не видал,
мы так редко стали встречаться в последние 10 лет..."
Он говорит: "Я с Машкой ходил туда,
где "Гости из будущего" тогда давали концерт".
Я ему говорю, что рифм половодье меня
так захлестывает, что только давай держись.
Творчество - это молитва, что жжет посильней огня,
и это - моя стихия, мое проклятье и жизнь!
Он говорит: "Какие суки - вчера
вновь не пришли электрики, света в подъезде нет!"
Он говорит: "А предки мои с утра
желают бутылку водки и блок сигарет."
Я говорю: "Ведь этот роман, представь,
мне дали на пару дней, и я прочитала его.
И после него я стала верить в Христа,
и поняла, что есть на свете любовь!"
Он говорит: "Я жить без любви устал!"
И так ли мне важно, что еще скажет он?
Но, Боже, как он целует в губы (или в уста)!
Таков мой самый странный роман...таков
мой вечерний звон!

ХОКУ

Ночь. Глаза кота.
Два факела мне светят
из тьмы Египта.

Лист мертвый. Ветер.
Вынужден кружиться лист –
нет отдыха ему.

Мороз в ноябре.
Гроздья еще не сняты.
Иней – укором.

Капля повисла
на ветке ореха – в ней
весь мир отражен.

Сколько родится
осенью этой стихов?
Сколько дождинок?

Окно в потолке.
Я вижу ход облаков.
На улице брань.

Листьям опавшим
мертвых бабочек крылья
подобны зимой.

Вот листья горят
как рукописи в кострах.
Рифмы дымятся.



Лето зимою!
Белых бабочек крылья
всюду трепещут.

Везде сугробы -
занесло дороги все.
Читаю книги.

Нет света в доме.
Я зажгу свечу в ночи -
загляну в себя.

Ковш Медведицы
блестит так ярко, чтобы
боль моя ушла.

Исколот лоб весь
тысячью снежных мушек...
Как же их прогнать?

Вспомнила тебя -
лист алый пал на снег - ты
вспомнил обо мне!

Не сплю я ночью...
Снег на крыше, а над ним
космос весь не спит...

Соль небосвода -
звезд кристаллы блещут так,
что губы солонь!

Лед под ногами,
Лед на душе – кто же я,
кто я среди снегов?

Друг, как больно жить!
Как исправить жизнь, скажи.
Смотрит друг на снег.

Как терпеливо
вырезает снежинки
зима до ночи.

Купила себе
цветы от тебя – рада
им каждый вечер!

Коты на ветках.
Ветер – и сорвались вниз
спелые коты!

Как лето сжалось –
Размер янтарной капли.
Рукой смахнула.

Наш двор занесло.
Вчера перепил сакэ
дворник Степанов

Города возникают, как рождаются люди –
 каждый по воле Божьей рождается на Земле.
 Имя слетает сверху для города – пусть он будет
 на месте – красив и крепок, когда все кругом во мгле.
 Имена любовно Господь выбирает детям:
 Киев, Одесса, Рим, Варшава или Сидней.
 И, как рыбак, Господь свои расставляет сети –
 Божии города, словно ловцы людей.
 Пахарь живет в селе жизнью простой и честной –
 в городе человек на многих крестах распят.
 То, что в селе добро – в городе неуместно.
 Перетекает рай в города дымный ад...
 Сложно, так сложно жить в том лабиринте улиц,
 в сутолоке домов, душ, полусонных лиц.
 Хочется, чтоб поскорей души-дома проснулись,
 когда под лучами утра тени падают ниц!
 С детства мы попадаем в лабиринт отношений –
 те, кто счастливою мамой в городе был рожден...
 Каждый обязан выжить в путанице стремлений,
 на перепутье судеб, в крутом замесе времен!
 Город – это сгущенье жизни, вражды, любовей.
 Город – приют талантов, город – сводник и вор!
 Город – парад амбиций и неприкрытой боли.
 Город – это и счастье, свет, судьба, приговор!

Облака говорят на санскрите,
Облака говорят на латыни...
Говорите со мной, говорите!
Этот день был тяжелый и длинный.
Облака надо мной проплывают
и словарь драгоценный роняют:
«агни», «веды», «поэта грекорум»
и рифмуют его с «романорум»...
Древний агни горит в наших жилах,
мимо стройная дэви проходит.
И в уме все слова колобродят:
Веды – ведьма, медведь, джива – живы...
Облака знают все, все видали:
древних ариев славу и горе,
древних греков дороги и дали,
древнеримских владений просторы.
Но к истокам припасть тянет снова,
что в санскрита живительной влаге.
Мама – мата, брат – братар, и слово
полыхает огнем на бумаге!

Почему, почему эта грязная, почти раздетая женщина
 лежит в черной, вонючей луже?!

Волосы ее спутаны, срам ее весь наружу!
 Почему она здесь лежит, как шлак, как отживший материал?
 Ее ведь кто-то любил, кто-то в муках ее рожал...
 У нее есть имя, и отчество, и фамилия,
 и день рождения есть у ней, и букварь был у ней!
 А я бы таким, как она, давала бы счастье горстями полными,
 и ни по законам кармы, ни потому, что она достойная!
 А просто потому, что нет у нее ничего, потому, что она человек,
 но равна бродячей собаке...

Потому, что тело ее избито, ум свихнулся, душа во мраке.
 Потому, что весна вокруг, сирень цветет и тюльпаны,
 и люди стоят приличные, и над ней смеются, над пьяной...

МАГОМЕТ

Если гора не идет к Магомету,
то она устремляется к Богу.
Гора идет к солнцу, к свету -
одна у нее дорога.
Горы - это такое море,
которое вдруг застыло.
Ступени в небо зовутся Горы,
кусты и трава - перила.
Магомет поднимается тихо вверх,
в котомке - овечий сыр.
Магомет - поэт, и мимо всех вер
он идет к дарителю сил.
Он идет к источнику точных слов,
приникая к горной воде.
Собирает в котомку он свой улов
звуков, запахов, рифм – везде.
Голубые волны вокруг него,
что недвижны сотни веков...
И пена тумана его зовет,
сотканная из снов.
Магомет сидит на вершине горы.
Мысли его тихи...
И потоком с неба текут дары,
и ливнем идут стихи!

Моему погибшему коту Мурчелло

Все исчезает, Мурчелло, и мы исчезаем...
Все мы – лишь капли в огромной клепсидре вселенной.
Жил ты три года и был ты философ – слезами
тут не поможешь – ты мачо был первостепенный.

Рыжий комок, рыжий сгусток тепла, – не напрасно
было твое появление на грустной планете.
Ты хулиганил и прыгал, и дрался, и лаской
сердце мое согревал, словно память о лете...

Друг мой Мурчелло, смотри из кошачьего рая:
что-то не то с нами всеми давно происходит.
Лучшие люди стремительной искрой сгорают,
лучшие люди, сорвавшись, внезапно уходят.

И тектонических сдвигов зияют разломы
в судьбах и душах. Поэтому, зверь мой невинный,
ты и погиб, непонятною силой влекомый,
сгусток тепла – под машинною грязною шиной!

А.Х.

Ты для меня – лишь голос, лишивший меня покоя.
Твой голос в мобильной трубке пытаюсь согреть рукою!
Твой одинокий голос в руке держу, как награду,
и никакой другой музыки мне не надо –
лишь этот вкрадчиво-низкий, застенчивый, мягкий голос,
что вперемешку с ветром в мой проникает космос!
Птицы летят на юг над куполами соборов,
улавливая обрывки наших ночных разговоров...
Твой голос, текущий плавно, в руке я держу синицей,
но верю: когда-нибудь приникну к его истокам,
чтобы напиться!

Небо взлохмачено ныне, будто при свете солнца
«Волосы Вероники» стали не только созвездьем.
Пряди волос повсюду – волны, локоны, кольца...
Волосы Вероники горят закатным возмездьем!

Волосы Вероники, Марты, Гертруды, Зои –
все перепуталось в небе – красные, рыжие пряди.
Все эти дамы, видно, в жизни не знали покоя,
если их шевелюры так растрепались некстати!

А горизонт разродился белым, как соль, пароходом,
а горизонт разродился облаком тысячелицым...
Чайкой, как облако, белой и смелым ее полетом,
сшивающим небо с морем, как может лишь только птица!

Мне бы хотелось говорить с тобой не словами –
слова бессильны, они ничего не значат!
Их смысл истерся тяжелыми жерновами
времен. Я хочу с тобой говорить иначе...

Вот чайка летит, сшивая небо и море,
она означает страсть, просоленную ветрами.
Это моя любовь там носится на просторе
и яхтою вдаль несется под парусами!

И первым снегом моя любовь выпадает,
по ней идут сапоги, ботинки и туфли.
Она трепещет, кружится и тает, тает...
Но все освещает, когда фонари потухли.

Смотри, смотри: все окна зажглись любовью,
И желтый свет на снег они проливают.
Снег сыплет солью и стелется тихой болью,
и люди идут, ничего ни о чем не зная...

Время – это единственная река,
 где не увидеть зеленые берега,
 против течения не поплыть
 и не переплыть ее,
 и не выполоскать белье...
 А если в ней рыбы плывут,
 то плывут они рядом с людьми,
 с птицами, медведями, лошадьми.
 И кто посмотрит в нее, не узнает свое лицо –
 никто не узнает своих детей, матерей, отцов...
 В ней не серебрится луна,
 И звезды не достают до дна.
 Лета – одно из имен ее,
 Другое же – Бытие.
 И кто не умеет плавать –
 все равно, как может, плывет.
 Кого-то в ней ожидает слава,
 кого-то – водоворот.
 А кто-то тонет, кричит «Спаси!»,
 Но чаще не слышат его.
 И только Отче, который на небеси,
 иногда подтверждает родство.
 И воды ее унесли с собой
 много царей и стран.
 Вращается время вместе с Землей,
 впадая в небес океан!

Гражданская война происходит на кухне:
у одной соседки варево желтое, а у другой – зеленое.
И кот одной написал соседке в туфли,
а та что-то желтое, сладкое подливает соседке в солёное!

И когда они ругаются самозабвенно и сладко,
У одной соседки слова вылетают желтые!
А у противницы совсем иные повадки,
и словами зелеными она бьет эту «дуру толстую»...

И мечутся по коридору желто-зеленые молнии
да пена капает – то желтая, то зеленая!
И тени танцуют на стенах: худая и полная...
Одна из них – мутно-желтая, другая – зеленая, темная.

У каждой соседки над балконом имеется знамя:
у одной оно желтое, цвета солнца и меда.
У другой – зеленое, листвою трепещет над нами,
но они развеваются в разные стороны даже при тихой погоде!

Вы, называвшие себя христианами,
не любившие книжного слова,
простые, как дети, а дети всегда жестоки...
Вы, растерзавшие Гипатию на
Александрийской площади,
за то, что была философ, а не вечно молчащая баба,
сжегшие Александрийскую библиотеку,
Где вы теперь, не жмут ли вам нимбы в вашем раю?
А Он говорил о любви, Он говорил «Не убий!»

Вы, называвшие себя христианами
и поместившие Жанну в центр огненного цветка...
(которая говорила: «Если не я, то кто же?!»)
Как вам сейчас, в вашем раю? Не запачканы ль копотью
белые ваши одежды?
А Он говорил о любви, Он говорил «Не убий!»

Вы, называвшие себя христианами,
казнившие тысячи невинных,
боящиеся огня разума больше всякого
другого огня...
На месте казни Джордано Бруно
уже давно стоит памятник.
А как вам, в вашей геенне огненной?
Как вам горится сейчас, святые отцы?
А Он говорил о любви, Он говорил «Не убий!»

Это было не то чтобы странно:
родилась здесь девочка Анна...
Отдыхала позже в Люстдорфе,
влюблялась, стихи писала
о лилиях и о безднах

без дна и начала.

Это было не то чтобы странно:
Гумилев приезжал сюда к Анне,
говорил о любви, получал отказы,
но не сдавался сразу.

И в стихах и в страсти

он был настоящий профи –

он глядел на Анны египетский профиль,
зову Африки в нем постоянно внемля,
видел новые земли.

Это было не то чтобы странно:

родилась здесь другая Анна –

на Слободке-Романовке, в то же время,

в семье рабочей,

на Сретенье, снежной февральской ночью.

Было 9 сестер и братьев у Анны,

она их нянчила неустанно.

Ходила в танцкласс, училась потом на рабфаке,
полюбила парня задолго до брака.

И слыхом не слыхивала о Горенко с Гумилевым,
об их поэтическом слове – чистом и новом.

Не слышала ничего о Хлебникове и футуристах,

О том, что Виктор – тих, Маяковский – неистов.

Голодала в 30-е годы, училась в Медине,

работала кондуктрисой.

Родила дочерей: Олю, затем Ларису.



На войне потеряла мужа, потом и дочку,

Поняла, что каждый выживает поодиночке...

Вторая дочь родила ей внучку однажды.

Внучка стала чудной поэтессой,

солдатом бумажным.

В честь бабушки тоже зовется Анной.

И все же: как это странно,

как же все это странно...

*Если идешь к женщине, то бери с собой плеть.
Ф. Ницше*

По улице идет смурной философ...
Он к женщине идет – к прекрасной Жанне
или Сусанне. Нет совсем вопросов
к ней у него – он с плетью на свиданье
идет решительно, как в цирк или зверинец.
Готов дрессировать свою подругу.
Нет, чтобы там цветы или гостинец –
он прихватил с собой еще подругу!
Он помнит все заветы Соломона
про золото кольца в ноздре свиньи, но
за ним идут все комплексы со стоном...
Он агнцем мнит себя, совсем невинным.
Но нет ни силы, ни великодушья
в субъекте сем убогом и ущербном.
Он в мрачной атмосфере рос удущья
и был ребенком малахольно-нервным.
И нет любви в том сердце, как в окурке...
(Не повезло ему когда-то с мамой!)
Плеть отними, Сусанна, у придурка!
Смотри – вся поросла она цветами...

Как одиноки все деревья –
 садовые или лесные...
 Хоть музыкой объаты древней,
 Поют мелодии ночные.
 И каждый голос, утопая,
 стремится слиться с остальными.
 Но дуб сосну не понимает –
 глазами смотрит он стальными.
 Деревья тянутся друг к другу,
 пытаются срастись корнями,
 пытаются сплестись ветвями.
 И птицы – верные их слуги –
 слова любви разносят быстро,
 коротенькие сообщенья.
 А молнии рождают искры –
 горячие слова прощенья!
 Но не обвить ствола стволом, и не
 шагнуть навстречу другу.
 Конец – сродни каменоломне,
 но каплет кровь на месте сруба!
 Любое древо – Мировое
 и в одиночестве любое,
 в том высшем смысле, чтоб собою
 связать с вселенною – земное!

Лене Миленги

Женщина – девочка с карими глазами,
с улыбкою во взгляде и стихах,
бывшая и ребенком, и мамой,
вдруг впустившая в душу страх.

Одесситка – молдаванка, гречанка, немка,
выросшая на Молдаванке, в одном из дворов.
Впитавшая солнце и всю эту летку-енку
одесского лета, и звездный его покров.

Любившая море, и танцевать, и музыку,
любившая жизни биение в каждой из мелочей,
была подружкой со всеми почти что музами –
сама, как муза, журчащая, что ручей!

Ее стихов неумелых не иссякал источник,
живых, как она сама, неожиданных, как она.
Ленка умела сказать и смешно, и точно,
и быть актрисой при этом – актрисой счастливого сна!

Но вдруг трагедия прорывалась сквозь слов
беспечность,
глубина и боль непонятно откуда шли,
как лик проступает через лица погрешность,
как вода проступает из-под земли!

Пари, лети, ты с нами и здесь летала,
то в танце, то просто идя по улице так легко...
Пусть Бог тебя завернет в свое одеяло,
пусть в небе тебя убаюкает высоко!

*Одиссей возвратился,
пространством и временем полный...
О. Мандельштам*

Сколько талантов зарыто в земле – она не спешит
делиться –
сколько секретов, страстей и прочих других сокровищ...
Только растениям она открыла и птицам –
сколько впиталось в ее чернозем неповинной крови.

Сколько оружия, амфор, роскошной посуды,
сколько монет, украшений искусной работы.
Сколько сокрытых любовью – чьих? и откуда?
в землю ушло и полито могильщиков потом.

Сколько безвестных легло в этот грунт, что убиты
дерзким мечом или просто устали чрезмерно.
Их имена или клички лишь травам открыты –
травы их помнят уж тысячелетья наверно...

Все принимает земля – чернозем и суглинок
также податливы, как и во дни сотворенья.
Дом твой стоит на костях скифов иль сарацинов?
Чьи различимы слова в шелестеньи и пеньи?

Все принимает земля, а трава покрывает –
ходят по степи зеленые, пряные волны...
Кто там в земле? Одиссей ли зарыт под сараем?
Кто упокоен – и жизнью, и бременем полный?

А я почти всегда на стороне
того, кто убегает от погони.
Кто ноги сбил, иль скачет на коне,
когда за ним другие мчатся кони.

На стороне я волка иль оленя,
когда идет охота на зверей.
Олень бежит, и с морды каплет пена,
и сердце скачет рядом все быстрее!

Вся жизнь – охота, Брейгель или Шишкин
об этом знали все почти – смелей
охотники! – сочувствие излишне,
а жалость – это скука и елей...

Вот близко жертва – вы уже в восторге!
Зверь ловит воздух пересохшим ртом...
И это – худшая из всех возможных оргий –
зверь или человек погиб притом...

Солнце жуком-скарабеем ползет по небу,
шарик из звезд перед собой толкая...
Жук-скарабей, ты ползешь словно быль и небыль,
солнцу свой ход неспешный уподобляя.

Скифы, сарматы тебя приняли из рук Египта –
до Борисфена дошел ты и до Урала.
Имя твое во множестве манускриптов...
Из гематита тебя на века создали.

Черные капли в земле и моей хранятся –
Их выпускают на волю на Ланжероне.
Их извлекают в тени золотых акаций,
как талисманы – мой город никто не тронет.

Город благословенный, моя Одесса,
Фортуна с тобою, судьба твоя – мир и счастье.
И никуда тебе от нее не деться –
ведь скарабей к этой земле причастен!

Душа моя – мой виноград:
корявые, витые лозы...
Осенние метаморфозы –
душа свободнее стократ!

Есть имена у ней – она –
то Лидия, то Изабелла.
В ней созревает дух вина
и грозди розовое тело.

Тяжелые, литые грозди
как дети лягут на ладонь.
И черенка я режу хвостик
как пуповину – слышу стон!

Со стоном боли и восторга
как падают они в тазы!
И наполняется ведерко
тяжелой сладостью лозы.

А небо – синее меж веток,
меж листьев зрелой красоты.
Как гармоничны здесь при этом
шальные рыжие коты!

И после ягоды, как зерна,
перебирая, раздавить.
А сок пахучий и дремотный,
как откровенье нужно пить!

И будет сок бродить, играя,
и цвет менять, но вот оно –
закатом в бутлях вызревает –
моя душа – мое вино!

РЕКА

Я только река, ты пойми, и я не могу застыть...
Я только в движенье живу, надо мною дрожат мосты.
Я чувствую сразу все и думаю обо всем,
и только под небом мой настоящий дом.

Я так молода, так стара, я – дитя в глубине,
во мне вековая мудрость на сонном дне...
Есть золото солнца во мне и неба палитра вся,
и зелень, что манит на дно, забвенья неся.

Но если меня остановишь, то будет беда –
любую преграду снесет шальная вода!
И если захочешь, чтоб стала я лишь ручьем,
я стану потопом, морем и кораблем!

«Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели...»

А. Блок

ТРАМВАЙ

На пассажирах трамваев общая есть печать:
не слишком большого везенья – им бы сидеть да молчать.
Но они говорят: о политике и о войне,
о жизни, о жизни всегда и только о ней...

И как актер на сцену, некто заходит в трамвай
и свой монолог произносит. Трамвай, кого хошь – выбирай!
Одни актеры безумны, другие в счастливом забвении...
И тетя «Америка замечает следы»* призывает к объединенью.
Она выполняет миссию – в вагонах много мессий.
От кого-то неважно пахнет. Не по нраву – езда в такси!

А девушка на гитаре играет Виктора Цоя.
Неважно ей, как посмотрят, и мнение услышит какое.
Да, как-то под Новый год, сидел хмельной Дед Мороз
и всех посылал он матом в ответ на любой вопрос.

Смеются и плачут дети на коленях у пап и мам,
смеются вовсю студенты под жизни больной тарарам...
Шуршит на асфальте дождик, трамвай в сизой дымке тает.
И лишь Америка замечает следы, замечает следы, замечает...

*Несколько лет подряд в одесских трамваях «проповедовала
пожилая женщина, которая всегда начинала со слов: «Ребята,
объединяйтесь! Америка замечает следы...»

Я лежу на диване
и слушаю шум дождя.
Света нет. Мы в нирване –
в доме лишь кот и я.

Лупит дождь о стекло
изо всех перуновых сил.
И столько воды утекло,
словно кто-то о ней просил.

Виноград как безумный
колотится у окна –
будто сын чей-то блудный
напоен допьяна.

И свеча лижет сумрак
своим язычком.
Мы с котом моим Муром
молчим ни о чем...

Венеции на самом деле нет...
Лишь блики на воде и лишь спектакль,
что длится без конца уж сотни лет.
В нем так легко смеяться или плакать...

И масок в ней чуть больше, чем людей.
Она и есть, и нет, как свет и тени...
В ней каждый хоть немного лицей.
Как солнечно в Венеции осенней!

Я открываю город как ларец,
наполненный камнями в избытке.
Здесь что ни дом, то кружевной дворец
и улочки, как спутанные нитки...

А гладкий шелк воды струится здесь
платком, что обронила догаресса.
Тут время не бежит, тут что-то есть,
что замедляет быстроту прогресса.

Но вот и вечер, тусклы фонари,
и ветер с моря, дождевые капли...
И город темен – под ноги смотри! –
как зал после вечернего спектакля.

Здесь тихо так. Пред церковью замри! –
Вивальди или Бах... А утром рано
в соборе деи Фрари вновь парит
алтарная «Ассунта» Тициана!

Странная девочка росла вдали от друзей.
 Лишь книги, книги дружили с нею всегда...
 Книжки – кирпичики построили стену, за ней
 она и жила, и жизнь текла, как вода.

Ровно, спокойно, и ни волны, ни штормов...
 Ходила гулять зимой в заснеженный сад.
 Она общалась со сворой чужих котов
 и с парой чужих собак, и каждый был рад.

А осенью она ходила в сад золотой
 и красный, как кровь императорского дворца...
 И книжки, книжки ходили за ней толпой,
 и не различить человеческого лица.

Но весной она вдыхала пары земли,
 и в лицо дул ветер таинственных перемен.
 И кто-то там мелькал перед ней вдали,
 и другую жизнь хотел предложить взамен.

Но она воздвигла из книг себе целый дом...
 А летом снимала черешню в своем саду.
 Угощала редких гостей в жилище своем,
 и на море ходила, не чуя вовсе беду.

Только раз задул ураган нелепых затей,
 и рухнули книжные стены и потолок.
 А книжки не защитили ее от людей,
 которые ей сказали, что мир жесток.

И теперь наша девочка в доме живет другом:
 на окнах решетки и санитаров ряд.
 Но с нею стихов любимых невзрачный том,
 и это ее примиряет с тем, что зовется – ад!

Среди мути, тумана и всякой дневной шелухи
вдруг появляется нечто, пронзает голову.
И ты понимаешь сразу: это стихи
стучатся в тебя и текут как жидкое олово!

Рождается четкая мысль и требует слов,
как одежды. Они излучают жар и сияние.
Они требуют равных себе – таково ремесло –
расставлять по местам, чтоб слова превращались
в слияние.

И затем понимаешь, что это с тобой, любя,
космос так говорит. А ты – не творец, только
копия.

И не ты стихи, а это они тебя
творят по образу своему и подобию!

Театр и сновиденье – это почти одно.
Или, если хотите, сон – это такое кино,
где все – лишь символ и множество смыслов

в нем.

Сон – это кривое зеркало, но мы в нем также
живем!

Театр – это такое Королевство кривых зеркал,
где все стократ увеличено, что сделал и что сказал...

Где каждая вещь имеет душу, значение, суть...

И манит актера сцена, как путника манит путь.

Театр – это огромный сонник на много слов –
иллюзия к миру прикована сладчайшими из оков.

Морфею нравится Талия, и он в Мельпомену

влюблен.

Сон перетекает в театр, театр перетекает в сон!

Бог – это такой костер,
когда ты идешь в ночи
по холодной степи. Блудный ты
или вор –
то неважно (хоть сердце кричит!)
Но ты идешь на тепло и свет,
что костер проливает во тьму.
И можно блуждать еще множество
лет,
но ты к нему одному
устремляешь уставшие ноги свои,
хоть костер от тебя далеко.
А огонь проливает потоки любви
сквозь туманное молоко...
И твоя задача – только идти,
не задерживаясь в пути,
к началу начал и к концу путей,
к Альфа-Омега идей!
Ибо все в нем: и свет, и тепло, и покой,
и стихает в нем гомон людской.
Ты себя самого на пути укрепи,
чтоб не мерзнуть в холодной степи!

Случайный звук упал в сырую землю,
и дерево оттуда появилось.
Оно росло, ветрам и птицам внемля,
а ветви наливались дикой силой...
На ветках тихо набухали ноты
и лопались, мотивы выпуская...
Такая шла прекрасная работа
в том дереве в преддверье бурном мая!
В нем пели арфы, флейты и гобои,
гудел орган однажды в непогоду.
И о любви шептались тихо двое,
да шум реки вливался в эти ноты.
А звоны из ближайшего селенья:
из кузницы, с церковной колокольни
смешались с поезда протяжным пенем...
И так рождалась музыка невольной!
Так до творца она уже звучала –
до уха, что слышало начало!

Сколько подошв по асфальту шуршит ежедневно...
Обувь – есть продолжение человека.
Малые лодки, плывущие в мире пенном,
несут нас в течение нашего краткого века.

А от пинеток и до усталых ботинок,
разбитых как жизнь, так много всего проходит.
Кеды подростка, тапочки из парусины,
белые туфли невесты, как белые яхты свободы...

Черные туфли мужчины со статусом и положением
похожи на лимузины, и нет на них ни пылинки.
Пахнут они коньяком и к себе уваженьем,
обувь хозяина жизни блестит так невинно...

Так утонченно-коварны те красные шпильки
дамы, плывущей рядом с таким мужчиной –
облик ее подобен большой копилке.
Как крепостные стены, надежны их спины.

Но вот по парку идут золотые сандалии,
а рядом кроссовки спортивным шагом упругим.
И он обнимает ее небрежно за талию,
и светится счастьем даже платье его подруги!

Она смотрела сериалы по вечерам
русские, турецкие и бразильские
в городе возле моря, и всем ветрам
был открыт ее дом и улица аркадийская.

Она звонила подругам по вечерам,
после того, как серию уже посмотрела,
и говорила: «Ты видишь, Зина, какой бедлам
в этом доме дона Хосе, и какое ему до Марии
несчастной дело?!»

И зачем Мехмед не любит жену свою,
а только чужую Зулейку хочет?
Почему Татьяна не сберегла семью,
цыганка ведь ей совсем другое пророчит?»

А подруги ей отвечали: «Да-да, ты права! Нет-нет,
я не верю, что будет она несчастной с новым супругом!»
И пила она чай, и готовила дочке обед,
думая: «Какое счастье, что есть у меня подруги!»

Перед тем, как умереть, она завещала дочери
прах ее развеять над морем, чтоб черви не ели тело...
И вот, в назначенный час, подошла ее очередь –
она летела легкая и цветная, как те сериалы,
что раньше она смотрела...

Вертит в руке калейдоскоп Создатель:
серым бывает день, прозябанье, скука...
И на душе – лишь чувство, что все утратил.
Ноги не носят и странно бессильны руки.
Но поворот – и все засияет ярко:
солнце и море, песок горячей Сахары...
Жизнь, как цветные камни, мешок подарков,
молоды все – даже самый больной и старый!
Но поворот – и тревога терзает душу,
и не понять причин, только страх и мука...
Пьяницы пьют возле бара, и что покушать
в мусорном ящике ищет себе старуха.
Но прочь, отчаянье! Будут любовь и встречи,
хвоя лесов и прозрачных озер водица...
Будет вновь поворот, что тебя излечит,
и с новым днем неизвестный узор родится!

Поговори со мною о молчанье,
дороге долгой, тихой, бессловесной,
что вьется бесконечно и случайно –
широкой лентой или тропкой тесной.

Поговори со мною о молчанье
на берегу протяжном океана.
Аккорды волн и крики быстрых чашек
его не заглушают утром рано.

Молчание наполнено словами,
любовью, болью, смыслами столетий.
Оно вмещает все, что будет с нами,
что было и что есть. Мы в нем как дети.

Поговори со мною о прибое,
который есть внутри у нас:
вдох - выдох...
Единый ритм связует нас с тобою,
со всем великолепьем жизни видов.

НА ПАРОМЕ

Натянута туго морской воды полотно.
Скользит по нему кораблик два дня уже,
а может две тыщи лет, с Писанием заодно,
где сказано, как относительно время в своем
кураже.
Скользит по воде паром, и земли не видно
вокруг,
лишь Крым голубой однажды мелькнет вдали...
Мы «нашему Крыму» махнем: – До свиданья, друг!
А он: – Я не ваш и не наш, я сам себе властелин!
В Аджарию мы плывем, набрать себе солнца впрок
и за золотым и красным ее вином!
И небо дает нам покоя легкий урок,
а море его повторяет в себе самом.
Вот вечер расставил сети свои везде,
и в них трепещет влажный звездный улов.
И что-то там звезда говорит звезде,
А мы собираем бусы из ярких слов.
А мы читаем стихи, плывя по волнам,
читаем прозу, похожую на стихи,
ибо все в ритме моря – и это радостно нам,
поскольку слова – это родственники стихий!
Притихли и дальнобойщики: Ваню, Ашот и Шота
и слушают звуки речи, им неродной.
Забыли о том, что жизнь, возможно, не та...
Забыли о том, как хочется им домой...
Под нами бездна, и в ней дельфинов игра.
Над нами космос – и все же не страшно нам!
Пулсирует между ними и между завтра – вчера
корабль-сердце, несущий нас по волнам!

БЕЖЕНЕЦ

Твое имя – это долгий и синий звук И
 и мягкое р в конце.
 И плывут по стенам твоим корабли,
 лишь блики дрожат на лице..
 Твой дом наполнен странною Крым,
 которую бросил ты.
 Лишь блики дрожат на лице и мосты
 сторают, дымят костры
 пожарищ памяти – ты сидишь
 и куришь, и пиво пьешь.
 Я выпью с тобою – мне радостно лишь
 оттого, что на свете живешь.
 Разложишь ты камни, как царь Соломон,
 расскажешь о каждом мне.
 В тебе есть свет и тепло времен
 киммерийских – на самом дне
 души твоей детской, что так мудра.
 А в ней Коктебель и Макс,
 Марина, чьи легкие ноги в горах
 не уставали, стремясь
 все выше забраться... Все знаешь ты
 о них, ничего о нас.
 Ничего о себе, и шуршат листы
 твоих книг о Крыме сейчас
 в моих пальцах. Твоей Феодосии свет
 будет вечно с тобою здесь...
 В граде Киеве Феодосийская есть –
 это родины горький след!

За одну ночь все города очистили,
больше в них не было этих обрубков
без рук и ног.

Нечего портить видом своим, воистину,
непогрешимость улиц, дворов, дорог!

На груди у многих были ордена и медали,
Но они так стучали своими тележками, что
не было сил!
Вы их страшные орды на улицах наших видали?
Милостыню у вас кто-то из них просил?

Нет, не видали – обо всем позаботилась партия
и лично товарищ Жуков – пухом ему земля!
Боже праведный и Богородица, вы воздайте им
за подвиги ратные! Пусть им шелестят тополя...

Их погрузили однажды ночью в вагоны,
кто-то бросался на рельсы, не желая переезжать.
Кто-то добрался до Соловков под песни и стоны,
кто-то расстрелян был раньше – но сколько ж руки
марать?!

Кто-то был сброшен с откоса (вокруг лесные угодия),
чтоб мог свободно пройти по городу пионер.
Спасибо тебе, мама ты наша, Родина!
Спасибо тебе, папа СССР!

Утром открыла окно – и ворвалось лето:
солнца охапка и запахов свежих стая!
Но когда настала пора вечернего света,
за окном шел снег, снежинки неслись, блистая...

Ты пришел на свиданье – молодой, веселый и смелый –
прожигал меня карим взглядом, острил цинично.
Но когда мы встретились снова, то был ты белый
словно январь. И все было чинно – прилично.

Только сесть хотела на поезд, а поезд уже в Берлине.
Вот ждет меня мой корабль – корабль уже в Марселе!
Мне всегда казалось, что путь невозможно длинный,
но я успеваю идти по нему еле-еле...

Воскресное утро – запах омлета и кофе,
и колокола в церквях только что пробили.
Но я выхожу на улицу, а там – война, и ей пофиг
все наши мненья. Присела и чистит крылья.

А сверху постоянно что-то сыплется:
снежинки, град, листва, стихи, идеи...
А на листве – латиница с кириллицей –
и это Божьи письма на самом деле!

А сверху постоянно что-то льется:
дождь то стеной, то каплями – как хочет.
И льется свет всевидящего солнца,
течет вино заката в чаши ночи...

А с неба падает все время что-то страшное:
осколки неопознанной посуды,
метеориты, птицы отлетавшие,
и самолеты сбитые, и люди!

А когда все закончится – мы в бисер сыграем снова.
Посмотри-ка на этот бисер – солнечный яркий цвет!
Только помни об этом, мастер звука и слова, –
помни, нас ждет игра, важнее которой нет.

Ты мне снова сыграешь адажио Альбини,
я буду петь для тебя красивые, грустные песни.
И мы заглушим с тобой все на свете стоны,
если мы будем вместе – а мы с тобой будем вместе!

Но посмотри: Дерibasовская в крови, в огне Куликово поле!
И дом чернеет с глазницами черными окон...
Неуправляема месть – но доколе, доколе
Ветхий завет будет вить в наших душах кокон?!

Мы опять с тобой затеряемся в старой Риге,
мы пройдем по всем святым местам Палестины.
Мы напишем с тобою прекрасные, добрые книги,
и в лучших музеях мы будем смотреть картины...

Но наша Одесса в крови – и это не киносъемка!
В огне и в крови истерзанная Украина...
Но если она любима – то будет она едина!
Я ставлю коробку с бисером на самую верхнюю полку.

Моя страна истекает кровью...
Я хожу на работу, в гости, в театр,
я снегом люблюсь, когда походкой коровьей
люди идут по нему - он как император -
невозмутим и чист. А страна истекает кровью,
как раненый зверь, попавший в зубы собаке!
Зима приходит в гости суровой свекровью...
Салюты грохочут в честь Нового Года, однако!
Мы празднуем Новый год - украинский, русский, китайский.
Мы празднуем Рождество, Крещение и Масленицу с блинами.
И верим мы в год Козы и в прочие новые сказки -
но нашу страну давно проткнули рогами!
Заполнены рестораны - праздник жизни подобен спорту,
хотя салюты похожи на взрыв снаряда.
Я общалась недавно с киборгом из донецкого аэропорта -
он вроде живой сейчас, и я этому рада!

ВОЛШЕБНЫЙ ШАР

Шар голубой, запущенный в небо Богом,
крутится, вертится, хочет упасть – не может.
Шар голубой, невинный, в блестящей тоге,
крепко привязан, с игрушкой елочной схожий.

Ленточки рек на шаре и водные глади,
птицы, цветы и деревья, и таинство мягкого снега.
Горы и города, и неба седые пряди,
жаркий песок Сахары и кони в аллюрах бега!

Музыкой шар объят, и перезвон соборов
Над площадями летит иль муэдзинов крики...
Все о любви поют – соло или же хором –
Что на эстраде, что – в церкви – сияют лики!

Но временами красным шар голубой окрашен!
Красные реки текут, убитых неся с собою...
И в двадцать первом веке сожженных домов и пашен
становится только больше после каждого боя.

Царствует Аваддон, гордость в царей вселявший.
Взрывы, безумье, горе – вот картина столетья!
Так и живет человек, зло и добро познавший.
Знанием равный богам, дар обретший бессмертья.

ПОДСНЕЖНИК

Муторный март – это моя душа...
Серые дни – скупые пайки тепла.
Движутся облака по небу не спеша,
мокрые хлопья дней – мимо витрин стекла...

Что удержать бы мне?
Жизнь – словно снежный ком...
Ну а душа по весне
глупым подснежником!

Тянется из щелей
обледенения...
Господи, ты согрей,
дай воскресение!

Ящик, Пандора, твой –
гроб любви и тепла.
И над моей страной
ты себя превзошла!

Но среди сонма бед
надежду не погубить!
Глупый подснежник вслед
тянется, чтобы жить.

ББК 84 УДК 82-1
С 84

Литературно-художественное издание

Анна Стреминская
Марфа и Мария
Стихи

Ответственный редактор Н. Вареник
Корректор Т. Берлин
Компьютерная вёрстка Б. Кирилин

Сдано в печать 16.02.2018 формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. лист. 14,0 Тираж 300 экземпляров . Заказ № 38
Издатель ФО-П Вареник Н.В.
«Писатель в интернет-пространстве»
Адрес: а/я 7, Почтовое отделение 7, г. Белая Церковь
09107 Украина
e-mail: cerkow@rambler.ru
тел.+38 066 091 24 20

Свидетельство о внесении в Государственный реестр издателей,
изготовителей и распространителей издательской продукции
Серия ДК № 5094 от 05.05.2016 г.

Отпечатано ФОП «Кирилин Б.П.»
09100, г. Белая Церковь, ул. Я. Мудрого, 20